

ТРИ РАССКАЗА

Легкий нрав

Фамилия их была Захидные. Что значит в переводе с украинского - западные. Они и были западными, с Тернопольщины, украинцами. Из тех, что "отец народов" своей жестокой волей переселил (в одни сутки обезлюдело множество сел) в сорок шестом в "зимну" Сибирь - копать уголь, валить лес, пахать землю.... Сколько же их, бедных, называемых то бандеровцами, то куркулями, померло в нашем Кузедееве в первые же недели. Мерли от голода, от трескучих морозов, от болезней и от тоски по родине. Бывало, ковыляет, ковыляет человек в рыжем, расшитом яркими шелковыми нитками, кожухе, остановился дух перевести и, глядишь, осел в сугроб – и готов. Подойдет сельсоветская подвода, взвалят на нее покойника и напрямик на кладбище, где так и стояла незарытой могила. Возьмут за руки, за ноги и бросят на уже зачочневших соплеменников. Дожившие – в основном Христовым именем – до тепла спаслись – своим поразительным, неиссякаемым трудолюбием. Остались живы и Захидные.

Дядько Павло – невелик ростом, сухой, как стручок, сгорбленный, большеносый, с короткими крысиными усиками, несуетливый и безмолвный. На угрюмом, медвежьей масти быке, запряженном в двуколку, возил трижды в сутки фляги с молоком с дойки на маслозавод. Отвез утренний удой, сдал, получил порожние фляги, а там уж и за полуденным надо ехать, сдал полуденный – и за вечерним пора. Без сменщиков, без выходных исполнял должность. Когда спал-отдыхал, один Господь Бог ведал.

Жинка его, тетка Параска, тоже была низкого роста, во всем же остальном полная ему противоположность. Широкобедрая, пышногрудая, смешливая и бойкая, склонная к сварливости, голос зычный, разливающийся. Понятно, верховодила и в

семье, и в звене колхозниц, занимавшихся прополкой полей, уборкой сена, жатвой, молотьбой...

И была у Захидных дочка Степанида, в обыденности – Стэфка. Комплекцией явно пошла в мать, немногословием и кротостью – в родителя. Правда, с ее лунообразного, в общем-то симпатичного, лица почти не сходила мягкая, наивная улыбка, делающая Стэфку схожей с теми ласковыми, доверчивыми колхозными телятами, которые стали ее заботой лет, однако, в четырнадцать.

Жили Захидные в ветхом, почти уже по самые подоконники осевшем в землю, домишке. Двумя окнами домишко смотрел на улицу, третье, кухонное, выходило на колхозные амбары, два параллельных ряда которых образовывали аккуратную коротенькую улочку. От крайних амбаров до жилища Захидных метров, может, двадцать пять. Эту пространственную подробность считаю здесь необходимой для вящего представления читателем того действия, к описанию которого я уже приблизился почти вплотную.

На уборочную страду в наш колхоз, как, впрочем, и во все другие, пригоняли (ах, словечко-то какое было!) с осинниковских шахт шефов. В основном это была молодежь и в основном парни, к тайной радости сельских девчат, однако ж к нескрываемой тревоге их матерей: городские, они ж, плутоватые, хваткие – обморочат доверчивую девчонку да и введут в соблазн. Были, были и разбитые сердца, и горькие слезы, и запоздалые прозрения, и изломанные судьбы. А потому, когда приспела пора женихаться и Стэфке Захидной, тетка Параска в мыслях своих ругалась в сторону шефов: «У, понаихалы, шоб вас вовки пойилы!..» И дочку не выпускала из виду.

Однажды вечером, уже в сумерках возвращалась тетка Параска от Хориных – относила долг, три рубля. Шла скорым шагом – сеял тихий, мелкий дождик. Глядь, а прямо напротив их, Захидных, кухонного окна, возле амбара, под его навесистым скатом стоят двое. При свете не очень яркой лампочки на столбе различила: Стэфка и бок о бок с ней парубок. Разговаривают. Тетка Параска встревожилась: шо за хлопец?

На цыпочках и, прикусив нижнюю губу, подошла к поленнице, из-за нее вгляделась в ухажера дочки. Синяя куртка – значит из шефов. Высокий, плечи широкие, крепкий. «У, бугаюка, шоб тоби...» Из-под кепки густые волосы... «Ой, мамочки! Та цэ ж Петро-мордвин!..»

Вот уже неделя, как тетка Параска с Петром Медведевым, проходчиком с шахты № 9, работает на молотилке и не нарадуется: ой, добрый, моторный работник! Кидает снопы в машину. Бабы, девки разрезают серпами переясла, а Петро, сам як машина, кидает и кидает. Очи веселые, огнем горят, щеки красные. Чем больше кидает, тем больше распаляется. Ой, работник! И смехач великий. Без шуткованья не может. Ни в работе, ни в перекурах. Кричит: «Веселей, веселей, бабеночки-девчоночки! Знаете, что мне сегодня утром председатель колхоза сказал? Норму, говорит, перевыполните хоть на один процент, завтра же самолично в город, аж в Сталинск, повезу всех на карточки сниматься. И – на Доску почета... О-о, я смотрю, вы большие любительницы фотографироваться: завалили меня, Давайте, давайте, я люблю, когда у меня по спине пот ручьем... Это, бабоньки, был у нас в Мордовии чудак покойник: умер во вторник, стали ему гроб тесать, а он вскочил да ну плясать. Живей, красавицы!.. Эх, мама, родила меня мордвином, а я хотел цыганом. Пошел бы вечерком в поле, нашел бы на костерок: пахарь кашу варит, ложкой помешивает. Я б подсел да стал приговаривать: «Варись, варись, кашка, да будем тебя кушать». А мужик бы на это : «Кто-то будет, а кто-то и нет». А я б удивился: « А ты, дяденька, разве не хочешь?..» И где только что берет этот Петро, чтоб ему век лиха не знать...

Признав в ухажере дочери Петра, тетка Параска успокоилась: «Добрый хлопец, хоч куды. - Вздохнула умиротворенно: - Нехай соби стоять».

Вошла в хату, включила в кухне свет, задернула занавески.

- Нехай стоять.

Принялась за дела – готовить ужин для Павла, сбивать в горшке масло, подтирать полы...Думка была все про Петра: веселый, добрый работник, значит и

человек должен быть добрый, ничего дурного дочке от него не будет... Однако опять вкралась в сердце матери тревога: а ведь если он на работе моторный, так и вечером, с дивчиной будет таким же моторным. Этот, как говорят на Украине, «пид церкву пидкопається, а таки влизе». Тетке Параске захотелось выключить свет, раздвинуть занавески и посмотреть, что там они. Но постеснялась. Тихонько вышла в сенцы и прильнула глазом к щели меж досками. Видит: Петро, что-то рассказывая, вихляется, размахивает руками, а Стэфка смеется. Тетке Параске как матери очень было важно знать, что именно вкладывает в уши ее дочери ухажер, но расслышать она почти ничего не могла. Сторожко вышла на крыльцо, но дверь, будь она неладна, пискнула и Петро замолк, смешно задрал голову в черное, просыпающее морось небо и что-то там выглядывает. Ишь, какой хитрый, подумала тетка Параска. И, чтобы Петро не подумал, что она вышла подслушивать, ступила к поленице, стала послушнее набирать дров. И как бы попутно мягко, добро сказала в сторону дочери:

- Стэфка, ходы вже до дому.
- Зараз, мамо, - без промедления и почтительно отозвалась дочь.

Принесенные три полешка тетка Параска в сердцах швырнула в запечек и самой себе:

- И яка ж ты холера! Шо тобі до того, шо вин ей каже? Ну шось каже. Чи тобі треба, шоб вин ее обхаживав мовча, шоб вони стоялы, як два пня?..

Опять принялась за дела. Некоторое время движения ее были резкими, нервными – все еще серчала на себя. Когда же отмякла, опять пошла думка про Петра. Прыснула, вспомнив, как он задрал голову до горы, что-то выглядывал на небе. Ой же хитрый! И тут же явилась мысль: так то ж беда, что Петро моторный, смехач да еще и хитрый. Наверно, уже не одну девку провел, а теперь под Стэфку санки подкатывает. Тетка Параска – она раскатывала в горнице половики – оглянулась с тревогой на кухонное окно, явилось желание побежать, схватить дочь за руку и увести в доим. Но пришла другая мысль : не-е, Стэфка не та дивчина, которую можно вокруг пальца обвести.

Мать и батько держали ее в строгости, учили хорошему. «Так шо кажи ей, хлопче, свои казки, какжи – все одно дулю тоби пи д нос пиднесуть. О так». Вон другие девки, рассуждала тетка Параска, уведят своих ухажеров подальше от родного дома, а Стэфка, наоборот, под окно своей хаты привела, значит, никаких дурных думок у нее самой нет, а если кавалер начнет охальничать, гукнет мать. Тетка Параска возгордилась дочерью: вся в меня, в мать. Вспомнилось ей время, когда обхаживал ее Павло. Ой, строго себя держала. Только через два года разрешила Павлу поцеловать себя, да и то всего лишь в щеку. Конечно, и то правда, что ухажер ее был тихоня и молчун. Параска в душе обижалась на него: не обнимет, не приголубит, даже руку не возьмет...

И вот тут будто кто склонился к уху тетки Параски и шепотом напомнил: вот ты рассуждаешь, а он, моторный, смехач да к тому ж еще и хитрый, тем временем, может, уже... А с улицы донеслось:

Ветер веет, ветер дует,
 Налетает на амбар.
 Хорошо мордвин целует,
 Лучше русских и тотар...

Тетка Параска опрометью в дверь и к поленнице. Видит: напевая, Петро пляшет вприсядку, а Стэфка так смеется, что аж на корточки приседает.

- Стэфка! – строго позвала мать, - Кажу, ходы до дому!!.

- Зараз, мамо, - без колебания ответила Стэфка. Руки назад и прислонилась спиной к стене амбара. Так же стал рядом с ней и Петро. И – тишина. Потом шепоток Петра и смешок Стэфки.

Это задело материнское самолюбие тетки Параски. Она повторила еще строже и требовательнее:

- Стэфка! Хо-ды до до-му!!

- Зараз, мамо.

- Ходы, ходы! – мать повернулась и пошла к крыльцу, поднялась в сени и прильнула глазом к щели. От того, что она увидела, само исторгнулось из груди:

- О, Боже ж мий!

Дочка, ее Стэфка под своим окном, на виду у родной матери, с каким-то чумазым шахтером – целуется!

- Ах, вы ж !.. – кинулась в хату, подхватила помойное ведро, вылетела на улицу, с размаху опорожнила посудину в сторону амбара и своим знатным зычным, широко разливающимся голосом сотрясла село:

- Стэфка! Ходы! Ходы до до-о-о-му, ку-у-р-р-р-ва твоя мате!!!..

Сначала на клубной террасе осеклась на полу-ноте гармонь, потом, пробудившись, весело и удивленно закудкудакали петухи, потом во всех концах села залились восторженным лаем собаки, потом от оконного двора донеслось ржанье племенного жеребца Ухаря, похожее на смех великана, потом, будто стряхнув с себя лень, бойко забарабанил по крышам дождь и только после всего этого нехотя, с трепетной боязненностью расплелись две пары рук, дивчина и парубок отделились друг от дружки.

И все в селе разочарованно угомонилось, а дождик так и вовсе перестал. Но зато опять запела гармонь. Пела она тихо и что-то задумчивое, доброе, берущее за сердце.

Стэфка прошмыгнула мимо матери, вбежала в хату и укрылась в горнице.

А тетка Параска, понурая, удрученная вошла в кухню, опустилась на лавку и полилась рекой. Причитала:

- И яка ж я погана баба! Яка ж я дурна... Дурна як та пробка... На все сило ославила сама себе... Ой, мамочки-и-и...

А с улицы вдруг донеслось:

Вчера днем у лесопилки

Целовала меня милка...

- О, Боже ж ми-и-и-й! – простонала в ужасе тетка Параска.

...А сегодня я, дружок,

Отдал милочке должок

- Ой, чертяка ты, Петро-о-о!...

Небольшое затишье. И с улицы опять:

Теть Парася, свое горе

Ты завей веревочкой.

Не то выдохнешься скоро

В этой обстановочке.

- Сатана, - произнесла тетка Параска в печальной задумчивости, дробно потрясла головой, вздохнула всей грудью и застыла, глядя перед собой.

Тут пришел с работы муж Павло. Взглянул на жинку, спросил:

- Параска, шо в тебе за горе?

- Ой, батько, велико горе в нас...

- Ну?

- Не закрыла горшок з гречкой, а мыши ее поили, - всхлипнула.

- Так шо, теперь-ко вмирать будешь?

Тетка Параска ничего не ответила. Утерла рушником глаза, поднялась с лавки.

- Сидай сидать. И ты, Стэфка... Чуешь, ридна моя? Ходы, доченька, до стола...

Пожились Петро и Стэфка на октябрьские праздники. Тетка Параска не могла нахвалиться перед односельчанами:

- Во в мене зять: и гарний, и в работе моторный, и смехач, яких бильше немае.

Ей напоминали:

- Ты говорила, что он еще и хитрун большой.

- И кажу: колы треба, то й хитрун великий,- и смеялась.

Смеялся и зять:

- Вообще-то жениться мне рановато бы. Да жаль такую тещу упускать - нрав у нее легкий...

11 ноября 1997 г.

Волоokie глаза

Сыну Саше /Оне/.

Расскажу о пережитом мной событии полувекковой давности. По силе душевного потрясения оно, пожалуй, не может сравниться ни с чем из всего того драматического, что мне выпало пережить позже.

Во время войны сельским рабочим и служащим для облегчения их участи правительство разрешило заводить рабочий скот – лошадей и быков – и засеивать участки пустующей земли просом, гречихой, чумизой, ячменем, Отец мой был утильщиком – заведовал складом вторсырья, и нам километрах в четырех от села отвели деляну залежи. И был у нас выхолощенный бык. Как-то так получилось, что отец звал его Мишкой, а мать, и следом за нею я, Буськой - из-за его редкой бусой масти – это что-то серо-голубое. Принесла его наша Зорька через пять месяцев после моего рождения. Судьбой ему было отмерено пробыть на этом свете восемь лет. Конечно, для быка возраст не предельный. Однако уже к этой поре почти всякое крупное рогатое тягло становится костлявым, со впалыми боками, угрюмым и бесстрастным. Наш же Буська, несмотря на постоянное тружение, всегда был упитанным, с широкой спиной, отчего казался немного кургузым. И по нраву он оставался живым ребячливым

бычком с ясным, улыбочивым взглядом больших волооких глаз. Буську мы любили, как равного члена семейства – а я еще и как друга, брата – его холили, во всем поглажали, берегли, потому он так и выглядел.

Теплое, золотистое весеннее утро. Отзавтракав, отец выходит во двор, велит мне:

- Беги, сынок, за Мишкой. Пора.

Буська на лужайке близ нашего дома пощипывает молоденькую, ярко-зеленую травку. Замечает меня, несущегося к нему вприпрыжку, подымает голову, перестает жевать. Притворно гадает: “Кто это ко мне так резво? Чей это, не пойму, малец? А вот я его сейчас, - “набывивается”, - как-а-к под-дену на рога да ка-а-к ах-ну о зель!..”

- Буся. Бусь, айда – папа зовет.

Буська “конфузливо”:

“О-о-о, это ты, Вов? Не узнал! – глаза смеются. – Вот ей Богу не узнал”, - склоняет предо мной голову: “Виниват”.

Одновременно этот его жест обозначает еще и приглашение прокатиться. Становлюсь на рога, - а они у Буськи роскошные: широко разбросившись, плавно и строго симметрично описывают, тоже плавно утоняясь, дуги, самые кончики рогов, как бы ради форса, чуть вздернуты, - Буська осторожно подымает голову и меня на ней, по шее заползаю на широкую спину, разворачиваюсь, усаживаюсь поудобнее, ощущаю тонкое, нежное, очень родное тепло, входящее в меня от короткой, плотной и мягкой шерсти. Произношу по-командирски:

- Цоб!..

Буська степенно, будто везет не босоногого мальчика, а какую-то важную персону, вышагивает к уже раскрытым отцом воротам. Навстречу выходила мать с кусочком хлеба, посыпанным солью. Буська загодя источал обильную, падающую нитяными обрывками на землю слюну, вежливо принимал угощение, сочно, с благодарным сопением жевал его. Отец тем временем снимал меня с Буськи. Надевал на него

седелку, хомут с разрезанным посередине подшейным войлочным валиком и запрягал в телегу, на которой лежали свернутая в рулон кошма, кое-какая отцова и моя одежда, кожаная сумка с едой и плужок с одним колесиком.

Мы ехали в поле. Шел Буська мелким бодрым шагом, весело помахивал, как бы развлекался, белой кисточкой своего недлинного хвоста, - везти полтора седока, плужок да кое-какую мелкую поклажу не было для него работой.

Настоящая работа – шагать по неудобной узкой борозде и круг за кругом тащить и тащить плуг. Весь вытянувшийся вперед, сгорбившийся, ступает Буська грузно, тяжеловесно. В нем напряжены все жилы, даже хвост тугой, скрюченный и завернут набок. Задние ляжки вздуты и каменно тверды. Веревочные постромки натянуты как струны. Сухо поскрипывают и пощелкивают сыромятные гужи, пощеньячи повизгивает колесико плуга. А от лемеха, отполированного до зеркального блеска, косо отваливается бесконечная тяжелая, маслянистая лента земли.

Иногда мои и Буськины глаза встречаются.

“Ты устал, Буся?” - мне жалко его.

“Ничего-о-о. Надо ведь”. – В этом ответе безунывность и спокойное достоинство.

Будто слыша нас, отец коряво – во рту у него пересохло – говорит:

- Дойдем, Миша, этот кружок и передохнем, - изловчается на ходу, не отрываясь от плуга, утереть об рукав потный лоб и, чтобы Буське было полегче, сильнее сжимает ручки плуга и подталкивает его...

Вот и дошли круг.

- Тпру-у-у.

Отец, покачиваясь, заходит вперед, выпрягает Буську и отпускает в рощицу пасть.

На опушке рощицы шалаш. В нем мы с отцом обедаем. После чего отец раскатывает кошму и ложится с часок подремать. А я чем-нибудь забавляюсь.

Например, кладу на муравейник обслонявленную соломинку, через некоторое время беру ее и слизываю набрызганную муравьями остро и жарко пахнущую кислоту. Потом делаю лук и стрелы, охочусь, конечно, безуспешно, на ворон, набираю букет медунок и подснежников для мамы. Наконец, принимаюсь – это моя обязанность – собирать сушняк для вечернего костра: отец и Буська чаще ночевали в поле, а я вечером бежал домой, чтобы поутру принести еду.

Однажды, когда отец дремал в шалаше, а Буська пасся, я, собирая дрова, вдруг увидел в нескольких шагах от себя на солнечной прогалине двух гадюк – одна большая, черная, блестящая, другая поменьше, серая. По спине ромбики. Обе они высоко, наверное, на треть своей длины, вздыбливались, разом откачнулись назад, с шипом набрасывались одна на другую, перевивались, сворачивались в один клубок, развивались и вновь вздыбливались и перевивались. Дерутся, решил я, и, чтобы получше было наблюдать их бой, сторожко ступил ближе к ним. Змеи, услышав хруст сухой былинки под моей босой ногой, насторожились и зашипели в мою сторону так густо и угрожающе, что это услышал и бывший неподалеку Буська. Он встрепенулся и сделал два скачка к гадюкам. Вкаком-нибудь метре от них стал рыть копытом землю, грозно и гулко трубить, то и дело мотая головой в мою сторону, дескать, живо уходи отсюда. Пятясь назад, я видел, как змеи исполошенно расползлись в разные стороны...

Спустя годы мне попала одна интересная книжка о разных пресмыкающихся. И я понял: то, что наблюдал тогда, было вовсе не боем гадюк. Это они так миловались – весной у них брачный период. Кстати, черная была самка, а серая – самец. В эту пору змеи очень агрессивны, могут напасть и ужалить. Буська (равно и все его сородичи) знал это безо всяких книжек. У него это знание врожденное, и он отвел от меня беду.

Заслышав Буськин рев, отец пробудился, высунулся из шалаша.

- Что там у вас?

- Змеи.

- Ну вот. А ты все босой бегаешь. Обуйся... Ну, что, брат Михайла, никто за нас не допахал поле? Тогда, наверно, давай будем сами потихоньку...

После пахоты было боронование поля, засеянного отцом вручную. Потом Буська пахал огород, Потом возил из лесу дрова, жерди, столбцы для ограды, таскал на покосе копны... А там уже и уборочная подходила. Возил на ток, устроенный там же, в поле, снопы, домой – зерно и солому. А еще из окрестных деревень он возил разный утиль. Словом, без работы наш Буська никогда не оставался. И всегда на мой вопрос, не устал ли он, его большие красивые волоокие глаза отвечали:

“Ничего-о-о. Надо”...

Поздней осенью сорок шестого года, уже в самое предснежье, отец и мой старший брат Петя, вернувшийся с войны, поехали на Буське в лес за пихтовыми бревнами для новой стайки. Меня, как ни просился, не взяли.

- Мы там долго будем, - сказал отец, - а погода, видишь, хмурая, холодная.

Ближе к вечеру я залез на наши большие и высокие ворота, лузгал семечки и поглядывал на гору, с которой серой лентой сходила вниз, к ручью, дорога. Завидев на горе подводу, с восторгом возвестил себе и маме:

- Едут! Наши едут!..

Спрыгнул с ворот и стремглав – к ручью. Когда я примчусь к нему, подвода – не раз проверено – будет уже на этом берегу. Отец остановит Буську, подымет меня на воз и, как всегда, отдаст мне вожжи.

Добежал и ... увидел страшное.

Рядом с обвалившимся мостком через ручей, который, впрочем, журчал только в весеннюю пору, а теперь был просто мокрой канавой, лежала вверх колесами телега, под ней пихтовые бревна. А на этом бережке лежал на боку Буська. Одна его задняя нога несуразно торчала вверх, ее подпирала оглобля, другую оглоблю придавил всей своей тяжестью Буська. Буська храпел - при крушении хомут свернулся набок и сдавил ему горло. Отец и брат суетливо пытались добраться до супони, чтобы развязать ее. Но

у них ничего не получалось, она была под шеей Буськи. А из его приоткрытого рта вырывались хрипы и уже пузырилась пена.

- Буся! – испугался я.

Его добрые, притуманенные глаза сказали мне:

“Ничего-о-о. Бывает. Ты не горюй...”

- Надо, сын, как-то гуж обрубать, иначе пропадет Мишка, - сказал отец Пете. И мне через плечо: - Вова, живо топор! Вон сзади тебя...

Обернулся. Большой, острый, с блестящим лезвием, с отполированным ладонями отца топором топор лежал в нескольких шагах от меня. Метнулся к нему. Неловко – тяжелый он, большой – поднял, положил на сгиб левой руки и бегом – ведь Буська пропасть может! – к отцу. Но об что-то второпях запнулся и, выронив топор, упал. Удивился: в пальцах левой руки какое-то приятное-приятное тепло, но тут же оно сменилось нарастающей пронзительной болью. Ко мне ринулись отец и брат. Поставили на ноги. Не знаю, на чем держались три моих пальца – средний, безымянный и мизинец, - наверное, всего лишь на честном слове, они безжизненно болтались, по ним ручейками стекала на траву кровь. Я заревел. Петя вынул носовой платок. Стали суетливо – ведь еще же и Буська! – перевязывать раны, сторожиться: “Не дергайся!.. Терпи!..Да перестань же реветь!..” Наконец, сказали :

- Живо – домой!..

И вот тут-то одновременно послышались резкий деревянный треск и надрывно-натужный Буськин взрѳв.

Все взоры на него. Увидели: он стоит на коленях, на хребте переломленная надвое оглобля. Хомут все так же набекрень, но супонь теперь вот она – развязывайте. А глаза Буськины, полные тревоги и сострадания устремлены на меня, в самое мое сердце:

- Вов, Вов... Больно тебе?.. Но ты не горю-у-у-й. Обойде-о-о-тсь”...

Потом, вспоминая все это, отец говорил: “Кто знает, сын, может, то и спасло Мишку, что он шибко тебя любил. Это какая же силища в нем поднялась, а?!..”

Вот смотрю на пальцы своей левой руки. Три из них – средний, безымянный и мизинец немножко горбатенькие, заметны на них рубцы, а так пальцы как пальцы – действуют не хуже других семи...

Конечно, тот день был для меня днем большого душевного потрясения, но это еще не то потрясение, о котором я обмолвился в самом начале своего рассказа.

В следующем, стало быть, в 1947 году теплым летним днем отец и я ехали куда-то (сейчас уже не помню, куда) на Буське по роскошному нашему бору, разделяющему Кузедеево на две части.

Вожжи держал я и был очень горд. Буська, как обычно, весело помахивал белой кисточкой своего хвоста. А отец, думая о чем-то, тихо посвистывал. Вернее сказать – пошипывал: очень уж глухо у него получалось. Он это понимал. Но надо же ему было как-то выразить свое хорошее настроение.

Навстречу нам шел какой-то не знакомый мне высокий дядька.

Здорово-были, Петрович. Радио сегодня утром слушал? – сказал еще шагов за десять.

- Нет, не случилось. – Отец дотянулся до вожжей, остановил Буську.

Поинтересовался:

- Что-то важное передавали?

- Куда как важное. Москва сказала, что хватит нам с тобой пахать да сеять. А рабочий скот сдать. Не то такой штраф принесут, что и портки продашь. Так-то брат. – Дяденька пошел дальше.

И мы поехали дальше. Отец сделался печальным. И у меня на душе сделалось неуютно. И Буська чего-то сник и перестал помахивать своей белой кисточкой...

Прошло недели три. И вот...

Было уже не раннее утро. Солнце обливало землю золотым светом. Отец, собранный по-дорожному, подвел на поводе Буську к самому крыльцу. Позвал маму и меня.

- Ну, что ж, Миша.., - сказал скорбным, дрожащим голосом. – Спасибо тебе и за службу, и за дружбу. А если что не так меж нами было, то не попомни зла – прости. – Склонился, поцеловал Буську в лоб.

Буська не шелохнулся, стоял понурый, кручинный.

Мама тоже поцеловала его. Утерла слезы, погладила Буську по шее. Обычно в таких случаях он пошевеливал ушами – нравилось. Теперь же никак не ответил на ласку – будто окаменел.

- Попрошайся и ты, сын, - сказал отец.

Но я стоял потрясенный тем, что вдруг увидел: из Буськиных волооких, всегда таких красивых, а теперь мерклых, затуманенных печалью глаз выкатываются крупные, хрустально сверкающие шарики, они падают на грубые, бугроватые плиты тротуара и вдребезги о них разбиваются.

“Что это?!” – спросил. Хотя, конечно, понимал, что, но – не поверил.

- Плачет, - таинственно меж всхлипами шепнула мама отцу, тоже сглатывающему слезы...

Мне всегда было так хорошо, так счастливо рядом с Буськой, моим другом, братом. Мир виделся лучезарным, трепетно радостным и надежно бесконечным и вечным. И вот вдруг я почувствовал: этот мой мир разламывается, рушится. Сейчас, через мгновение он, как и эти хрустальной чистоты шарики, падающие из Буськиных глаз, сорвется в бездну и, ударившись о какую-то неведомую каменную громаду, разлетится вдребезги. И – настанет кромешная тьма.

- Буся! Бу-сень-ка!!.. – я кинулся к своему брату и повис на его шее. Дальше ничего не помнил – погрузился в черный мрак...-

Очнулся под яром на речке Тёш, неумолчно журчавшей за нашим огородом, и увидел склоненную надо мной маму.

14 ноября 1997 г.

СЕРДЕЧНОЕ ДЕЛО

В небольшой деревушке Мостовой близ райцентра Кузедеево жил в послевоенные годы Кеша Старостин – тихий, славный, с карими улыбчивыми глазами парень.

Отец его был в колхозе конюхом, а Кеша – у него в помощниках. Лошадей обихаживал с неустанным усердием, жалел, поблажал им всячески, потому как за годы войны шибко они надсадились – все было на глазах Кеша.

- Добро, сын, добро,- поощрял родитель, разменявший уже седьмой десяток лет – человек тоже мягкий, добрый. – Когда отойду от дел, ты вплотную заступишь. Лошадиная специальность надежная. – И мечтал: - Вот женишься и, Бог даст, тоже родится сын – он тебя сменит, а его – внук твой. Так и пойдет через весь наш род.

Кеше нравились такие слова. Однако смущали, вгоняли в краску, парню мнилось, что отец догадывается обо всем, что у него на душе. А в ней были разом и сласть, и мука.

Кеша уже и не помнил, с какой поры – казалось, это было всегда – ему нравилась Настя Соболева, ровесница. И знал, уверен был, что и он ей тоже нравится. Больше того, у них есть уговор, что они...в общем, настанет день и они... Нет, этого слова Кеша не мог произнести даже про себя, помыслить даже стеснялся. А – уговор был. Давно уже. И они его подтверждали при всякой встрече. Встретятся на улице, в поле или еще где, мимолетно взглянут друг дружке в глаза и, смутившись, опустят взоры. Это обоюдное смущение и есть подтверждение уговора. От этого на душе у

Кеши делалось так радостно, так сладко, что немножко кружилась голова. То же самое, был он уверен, испытывала и Настя. Но вот с нынешней весны Кеша стал испытывать еще и муку.

Однажды в Мостовую на колесном тракторе ЧТЗ, переполошив и людей, и все живое, ворвался Мишка Рябинин – здоровый, сильный, лихой, острый на язык куздеевский парень. И – околдовал здешних девчат. Являясь в клуб или на вечерку, Мишка каждую одаривал приветной улыбкой, картинно целовал им ручку или чмокал в щечку, называл крошечками, милашками, лапочками. Девчата рдели и млели. Каждая надеялась, что такой видный парень да к тому же тракторист станет непременно ухаживать только за ней. Всячески завлекали его. Но, к скорому их разочарованию, Мишка всерьез заинтересовался одной лишь робкой, застенчивой Настей Соболевой. Одну ее выбирал в играх, приглашал на каждый танец. Подходя к ней, прикладывал к сердцу ладонь:

- Ах, любя, вы засимпатизировали мою комплекцию до потери сна и аппетита.

Разрешите вас пригласить...

Танцуя, Мишка что-то нашептывал Насте на ушко. Девушка смущенно улыбалась и искала глазами Кешу, чтоб сказать ему взглядом:

“Ты не подумай чего дурного. Уговор наш чту”.

Кеша ответным взглядом ей:

“Я верю тебе..., - но на душе была все-таки обида.

В конце вечерки Мишка настойчиво навязывался проводить Настю до дому. Девушка увертывалась и быстрым шагом направлялась в свой проулок, бросив в сторону Кеши призывный взгляд:

“Ну, догоняй же меня!..”

Кеша нерешительно делал шаг к Насте, но куда как решительный и напористый Мишка опережал его, настигал девушку, хватал за руку. Настя вырывалась и

припускала бегом. Мишку это ничуть не смущало, он, не теряя надежды на успех, напевал:

Настя радость, Настя свет,

Настя розовый букет,

Настя лента голубая,

Обожди меня, родная...

Кеша замирал и в волнении прислушивался... Вот пискнула калитка Соболевых...кляцнула сенная щеколда. Парень облегченно вздыхал и корил себя за робость, обзывал теленком, лопухом. Брел домой и давал себе слово, что завтра, в самом начале вечерки он подойдет к Насте и скажет: “Пойдем на речку. Посидим на берегу и я тебе что-то расскажу...”

Но и назавтра было так же. Мишка ухаживал за Настей, навязывался на провожанье, а она увертывалась и, бросив призывный взгляд на Кешу, убегала домой. То же и на следующий день...

Однажды Настя не увернулась от Мишки. Вернее, хотела увернуться, да не получилось – Мишкина хваткая рука, крепче, нежели обычно, сжала предплечье и высвободиться было невозможно. Только и успела Настя через плечо крикнуть взглядом, полным укора: “Ну чего, чего ты ждешь?!..” Кеша не сказал, а приказал себе в страхе: “Завтра!..”

Да, завтра, вечером. Или, может статься, уже никогда, потому что утром ему надо по повестке из райвоенкомата идти на медкомиссию.

Почти все врачи были скупые на слово, строгие, скучные: “Покажи язык”, “дыши...не дыши”, “присядь десят раз...” Что-то там высматривали, выслушивали, выстукивали, выщупывали. Заключали сухо: “Годен...” И совсем другое дело хирург –

щуплый, косматый, с короткой белой бородкой, подвижный старичок. Раскинув руки, он шагнул навстречу совершенно нагому Кеше Старостину, весело восхитился:

- Ах, красавец-то какой!.. Что, сынка, поди, ждешь – не дожدهшься, когда на службу пойдешь? – положил руки на плечи призывника. – Все косточки целы-невредимы? Переломов не было? Потрогал предплечья, ключицы. – Из какого селенья-то сам?

- Из Мостовой.

- Батяка липового меда накачал нынче?

- Немного. У нас всего три улья.

- Маловато. Грыжи нет? – потрогал правый, левый пах. – Родители, слава Богу?

Здоровы?

- Да всяко.

- Но три-то года, пока служишь, поди, подюжат?.. На что-нибудь жалобы есть?

Докучает что в здоровье?

- Да вроде нет, - сказал Кеша. И после паузы несмело:

- Только вот палец.

- А ну-ка, какой?

Призывник поднял правую руку. Все пальцы как пальцы, а указательный согнут во втором суставе и напоминает неловко написанную первоклассником единицу.

- О-о-о, сынка-а, - доктор бережно потрогал пинцетом своих пальцев носик “единицы”, заглянул в глаза призывника. – Он у тебя от рождения так?

- Да нет.

- Ага, значит, потом сросся. Давно?

- Давно... Но не так чтоб...

- После травмы или как?

- Так как-то. Свело и не отпускает.

- Ах ты ж беда-то, - доктор, всплеснув руками, ударил себя по сухим бедрам. Засуетился около Кеша. – Ай-яй-яй. Такой парень. Орел! В армию хочет, прямо всей душой рвется, а пальчик... Да какой пальчик-то! Указательный, на правой руке, которым как раз курок винтовки спускают...- доктор взял правую Кешину руку за запястье. – Значит, свело и не отпускает. И не отпустит, боюсь. Резать надо и выпрямлять. Может, сейчас же и займемся? Ножик у меня наточен. А?.. – Парень, заметил хирург, - сошел с лица.

- Правильно мыслишь, больно будет, кровь хлынет. Но иначе-то армии тебе не видать.

- Отпустит, - сказал Кеша.

- Откуда такое знание?

- Бабки говорят.

- Ну-у, этот народ много чего ведает. – Доктор опять принялся рассматривать Кешин скрюченный палец. – А как он, сынка, у тебя до этого-то был?

- Вот так, - простодушно сказал призывник и выпрямил свой указательный палец.

- О! – воскликнул хирург. – Отпустило! Слава тебе, Господи! Бабки, они, говорю, мудрые, но и мы, доктора, бывает, чего-то смыслим. – Оглянувшись на дверь, почти шепотом спросил строго: - Ты чего это, негодник, удумал, а? Сердечное дело, поди? С зазнобушкой, спрашиваю, жалко расставаться?

Кеша склонил голову, часто заморгал и по щекам его покатались слезы.

- Я б на следующий год... А то уйду... а Мишка Рябинин силой заставит Настю за себя пойти.

- Так я и знал, - досадливо вздохнул доктор.- А ну садись, - показал на стул и сам сел напротив призывника. – Уймись, хлопец, да поведай-ка мне, Василию Тихоновичу Гутову свою заботу.

Кеша утер кулаками глаза, посмотрел благодарно на Василия Тихоновича.

- Ну, люблю я Настю... хочу жениться на ней. А тут Мишка, тракторист...

- Это я уже уяснил. А сам-то барышне открылся ли?

- Нет еще.

- Смелости не наберешься?

- Кеша, смутившись, кивнул.

- Ясен диагноз. С утра клянешься самому себе: сегодня непременно откроюсь! На вечерку шествуешь прямо гусаром: голова гордо закинута, грудь колесом. А увидел предмет своего страдания – тут же и сник, как сломленный капустный лист на солнце.

- Кеша удивленно уставился на хирурга, дескать, откуда вы это знаете.

- Тоже были молодыми – ведомо, - старичок привздохнул, утих, призадумался.

Спросил: - А хоть догадывается ли, Настя-то, про твою любовь?

- Знает она. И у нас уговор есть.

- Что за уговор?

- Кеша рассказал.

- Ах, сынка, леший тебя возьми! Расчудесный ты хлопец! – Василий Тихонович поднялся, заходил взад вперед по кабинету, о чем-то сосредоточенно думая. Снова сел. Вдруг, будто что вспомнил, ударил себя по коленке ладонью. – Значит, так давай: возьми-ка себе в голову, будто я твой давнишний и верный дружок. А ты, само собой, мой верный дружок. Давненько, опять же возьми в голову, мы не виделись. И вот встретились. И так же тебе хочется рассказать мне про свою зазнобушку Настю: какая она хорошая, ненаглядная да как ты ее любишь. А, сынка? Говори, рассказывай как на духу мне, своему дружку закадычному.

Кеша заулыбался, распрямился, глаза его заискрились. – Очень ему нравилась затея старичка-хирурга, но сдерживало смущение.

- Ну, ну, сынка... не стесняйся.

Поначалу неуверенно, сбивчиво, а потом все раскованнее и откровеннее Кеша поведал Василию Тихоновичу Гутову как воистину закадычному дружку своему все, что лежало у него на душе.

Да таких девчонок, как Настя, больше нет. Настя – это солнышко, которое светит Кеше не только в ясный день, а и в хмарь, не только наяву, а и во сне. Когда Кеша идет по лесу, то находит Настины черты в разных цветах, слышит ее голос в пении иволги, когда упругий ветер приглаживает плакучие ветви березы, они представляются Кеше Настиными шелковыми волосами, а взгляд распотешно-шаловливой, доброй и доверчивой белочки – это же точь-в-точь ее, Настин, взгляд... А когда Кеша на молодом, горячем Вихре скачет во весь опор по лугу, то почти зримо видит там, впереди, Настю и знает, как она гордится его лихостью, удачью и одновременно боится за него, что-то кричит ему, что – не разобрать из-за свиста ветра в ушах, но и так ясно, что это возгласы предостережения... Еще Кеша воображает себя и Настю в час вечерней зорьки на берегу речки Большой Тёш. Сидят плечо о плечо, задушевно, ладно разговаривают. И вдруг на том берегу в чащобе треск. “Медведь!” – Настя в страхе прижимается к Кеше. Кеша бережно обнимает ее обеими руками и, готовый положить за нее жизнь, зорко всматривается: кто там, в зарослях? И видит никакого не медведя, а черного бычка Черноскутовых. Кеша и Настя разражаются смехом, озорно и восторженно смотрят друг дружке в глаза, а губы их помимо воли сближаются, сердца трепетно, раз в раз, будто их не два, а одно на двоих, бьются в предчувствии, что сейчас неминуемо должно произойти такое... Но Кеша и Настя краем глаза видят, что Черноскутовский бычок застыл на месте и, бесстыдник, уставился на них. Парень и девушка входят в краску...

- Хорошо, сынка! – похвалил Василий Тихонович. – Прямо куда с добром. Так вот, значит, велю как дружок твой закадычный: сейчас же ступай в свою Мостовую, все это выложи Насте, и твое сердечное дело уладится за милую душу.

Кеша повел плечом:

- Но ей же надо другими словами...

- Это какими же?

- Не знаю... Особенными.

- Во чудак-человек! Куда ж еще особеннее тех, которыми ты говорил только что. Всякое слово делается особенным, если оно от сердца идет. Так-то...

- Я не смогу...

- Сможешь. Я научу. А, значит, наука простая: снеси-ка, сынка, своей любезной Настеньке привет от меня. Прямо так и скажи: “Привет тебе от Василия Тихоновича Гутова”. Понятно, она удивится, спросит, кто, мол, такой?.. Скажешь ей. А она опять удивится: а откуда, мол, он меня знает? А ты и скажи: да я, мол, хвалился тобой перед ним. Она, конечно: а как ты хвалился?.. Вот тут-то, сынка, и выложи ей все, что мне говорил. Понял? Ход наш верный, - Василий Тихонович весело подмигнул Кеше. – Ручаюсь, получится... Да! Про пальчик свой, чур, ни-ко-му. К слову, ты тут не первый придумщик. Бывали уже случаи. Ну, с Богом, сынка... Нет, стой. Придешь из армии, так не забудь же пригласить на свадьбу меня, своего “закадычного дружка”. Не забудешь?.. Ну и добро. Ой, и разгуляемся-а-а...

В Мостовую Кеша пришел еще засветло. И прямым ходом к дому Соболевых. Глядь, а Настя как раз с полными ведрами от речки подымается. Повернул навстречу ей.

- Настя, я из Кузедеева. Несу тебе привет от Василия Тихоновича Гутова.

Настя остановилась. В глазах недоумение.

- Я такого не знаю... Кто это?

- Кеша снял с коромысла и поставил на землю одно ведро, затем другое.

Коромысло осталось на плечах Насти.

- Это хирург. Добрый такой старичок.

- А он меня как знает?

- Знает. Я ему про тебя рассказывал.

Лицо девушки запылало.

- Что рассказывал?

- А вот послушай...

И Кеша стал рассказывать Насте свою душу, дивясь тому, как все у него хорошо, легко и просто получается, даже проще и легче, чем перед Василием Тихоновичем.

Настя смотрела на Кешу своими ясными, небесного цвета глазами и тоже дивилась:

“Что говорит-то. Что говорит!.. Да как! И неужели обо мне? Разве я и впрямь такая?” – Качнулась вдруг назад, сбросила с плеч коромысло, раскинула руки, порывисто подалась к Кеше, обхватила его руками, уткнулась лицом в грудь.

- Кешенька, - прошептала, - хороший ты мой...

Кеша бережно заключил в ладони Настино лицо, склонился над ним. Уста их невинно-стыдливо сблизились и соединились в горячем и долгом поцелуе.

А тем временем откуда-то взялся тот самый рыжий бычок Черноскутовых. Остановился в трех шагах от влюбленных, удивленно смотрел, смотрел на них, силясь понять, чем это таким они заняты – ничекого не понял, ступил к ведру и принялся со сладким причмоком тянуть воду. Первой услышала это Настя. Устыдилась бычка, высвободилась из Кешиных объятий:

- Вот он! Опять! Ах, бессовестный! – и ее звонкий смех перемешался с Кешиным смехом...

Через три года по осени Кеша и Настя праздновали свадьбу. К сожалению, не привелось на ней быть Василию Тихоновичу Гутову – “закадычному дружку” Кеши Старостина. К той поре славный старичок-хирург уже скончался. Но вспоминалось на свадьбе его имя – вспоминалось с веселой благодарностью и глубоким почтением.

23 ноября 1997 г.